

15 АВГ. 38 V

А. ФАДЕЕВ

ПАМЯТИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО

Станиславский принадлежит к тем лучшим людям человечества, имена которых оно бережно хранит в своей памяти, пример которых будет снова и снова вдохновлять людей на гигантский труд творчества.

Станиславский, начавший и возглавивший целую эпоху в русском театре, был в области искусства не только крупнейший мастер, он был подвижник, был предан искусству до конца и без остатка.

Искусство — это отраженный свет жизни, и многие, очень многие из деятелей его, говорящие о том, что они преданы только искусству и больше ничему, свидетельствуют о том, что они импотенты в жизни, не любят ее и ничего не могут в ней сотворить. Таких, с позволения сказать, деятелей искусства очень много в современной Западной Европе.

Станиславский был большим, незаурядным, гениальным человеком в жизни, он был творцом искусства настоящей, большой жизненной правды, искусства, которое обобщает, зовет, преобразует мир. Именно поэтому театр, созданный им, со всеми ответвлениями этого театра во втором, третьем, четвертом поколениях, оказался самым любимым театром нового, социалистического человечества, поднявшего правду как свое боевое знамя.

Подвижничество Станиславского в театре было то же самое, что подвижничество Бетховена в музыке, Менделеева — в химии,

Павлова — в физиологии. Это подвижничество всех гениальных людей, преданных своему делу за то, что оно может дать и дает людям. Как все деятели этого склада, Станиславский не терпел компромиссов, никогда не снижал требований к себе, не обольщался успехами. Если видел, что выходит плохо, говорил, что это плохо, и не боялся отстаивать хорошее, если окружающие не сразу понимали, что это хорошо.

Все актеры обожали его и в то же время трепетали перед ним, зная правдивость и резкость его суждений. Такое чувство испытывали, вероятно, ученики великих художников Возрождения.

Книга Станиславского, обобщающая опыт его жизни и труда, называется «Моя жизнь в искусстве». Ему важно было не то, что искусство дает ему, каким он сам выглядит перед людьми, а ему важно было достичь самых высоких пределов воплощения жизненной правды в искусстве, чтобы вызывать в людях высокое и полное эстетическое наслаждение, без которого не может быть подлинной, многогранной человечности.

Великий писатель Максим Горький приветствовал Станиславского словами — «Кланяюсь вам — красавец-человек!» Да, Станиславский был человек-красавец, человек-борец — необыкновенной душевной чистоты, честности перед собой, перед своим трудом и перед людьми.

ГЕНИЙ ТЕАТРА

Каждому пришлось это испытывать: с нетерпением поджидаешь в толпе дорогого человека, издали жадно ловишь его первое появление. И раз, и два, и десять раз кажется, что вот он — его рост, или его походка, его шляпа на короткий миг вводит в заблуждение... Невольно делаешь шаг навстречу и — с досадой тотчас останавливаешься.

Но вот — чуть мелькнуло вдали что-то неуловимо-общее, и по твердой, спокойной уверенности своего чувства не сомневаешься, что это тот, кого ждал.

С детских лет до конца наших дней мы жаждем гения. И порою глубине этой жажды мы обязаны самыми горькими разочарованиями, принимая за гения его обманчивую тень.

Но явится подлинный гений — и нет места сомнению.

В сфере театра не было другой фигуры, столь несомненно и полно олицетворявшей гения, как Станиславский. Чувство, которое он вызывал, была непоколебимая, твердая, счастливая уверенность, что перед вами — гениальный человек. Вам могла не понравиться та или иная сыгранная им роль, та или другая его постановка могла вызвать — и нередко вызывала — прямо возмущение. Вы могли резко не соглашаться с какою-нибудь страницей его книги. Все равно: даже самые явные его промахи, которых, кстати сказать, никто не открывал глубже и беспощаднее его самого, — даже и они носили на себе печать гения.

Я уверен, что и тогда, когда Станиславский был еще просто Алексеев — театрал-любитель с причудами и странностями, затейник и упрямец, — еще и тогда он всеял в окружающих особое к себе отношение.

Какое именно?

Восхищение!

Помню, как однажды, — это было очень, очень давно! — среди пышной обстановки, в толпе блестящих мундиров появилась фигура Станиславского в скромном черном сюртуке. Голова его уже и тогда была серебристая, но оттененная еще черными штрихами бровей. В толпе мало кто знал, что это — Станиславский, да и самое имя его, как и название его театра, были, как небо от земли, далеки от нынешней их популярности. Но как только он появился и стал подниматься по лестнице, решительно все глаза обратились к нему и во всех взорах засветилось одно: восхищение!

Творя его, природа как будто собрала и напрягла все свои неистощимые светлые силы. Не знаю, как у сверстников Станиславского, вместе с которыми он рос, —

ведь к современникам-то обычно и применимы слова, что нет пророка в своем отечестве, — но если говорить о дальнейших поколениях, то я не знаю человека, восхищение которым было так чисто, так свободно от яда зависти. Возможно, что отчасти причиной тому была какая-то покоряющая складка детского простодушия в его натуре. Но не это одно.

Говоря без всяких парадоксов, он преисполнил всякую возможность, всякую логику зависти, соединив в себе столь несметные богатства человеческого духа. Великий актер. Величайший режиссер. Создатель лучшего в мире театра. В преклонном уже возрасте он берется впервые, как писатель, за перо и создает гениальную книгу, — явление совершенно беспрецедентное! И эта микельанджеловская фигура, и эта величавая голова... Восхищались не только им, восхищались его портретами, скульптурными изображениями, даже его фотографиями. Ну, а уж что говорить о тех, к кому он был близок по работе.

Помню, несколько лет назад, подходя днем к подъезду Художественного театра, я увидел, что отовсюду к театру спешат актеры. Бросилась в глаза характерная фигура Москвина. И у всех на лицах особенное выражение: боевое, приподнятое и, если так можно выразиться, ответственное. Вхожу в театр — и там у всех, вплоть до капельдинеров, то же выражение на лицах.

— Самого ждем! — весело и значительно пояснил мне находку знакомый актер.

— Мы иногда плачем, — рассказывала мне знакомая актриса, — когда после сорока-пятидесяти репетиций, когда, кажется, уже берег близок, Константин Сергеевич вдруг задумывается и потом объявят, что вся работа не годится, все на-смарку, все надо начинать сначала, по новому рисунку. Плачем, жалуемся друг другу, что это какое-то бесконечное мученье, что так невозможно... А потом — подходит спектакль, и мы готовы его целовать!

В приветственном обращении Горького к 70-летнему Станиславскому есть очень характерный эпитет: «красавец-человек!» с восхищением воскликнул Горький.

Само собою разумеется, что сказано это не об одной лишь величественной внешности Станиславского. Нет, это выражение восторга перед явлением в целом, это выражение радости, что вот может же человек быть столь неслыханно одаренным, таким дивом дивным, чудом чудным. Это, так сказать, радость за безграничные возможности красоты и гениальности, тающиеся в природе человека.

А. ДЕРМАН